



Николай Климонтович
Только остров

«ЭКСМО»

2011

Климонтович Н. Ю.

Только остров / Н. Ю. Климонтович — «Эксмо», 2011

ISBN 978-5-457-12389-2

«Только остров» – своеобразный литературный «привет» незавершенному набоковскому роману «Solus Rex», тонкая игра с классикой, но в то же время – свободное от реминисценций повествование о судьбе умирающего от тяжелой болезни героя. В предсмертной простоте рождается ясность и перерождаются ценности. То, чем дорожил всю жизнь, может в мгновение лопнуть как мыльный пузырь. И, наоборот, случайное и неважное становится самым главным. Николай Климонтович – один из немногих писателей современности, мастерство которого позволяет ему самым обычным явлениям жизни придавать удивительную философскую перспективу и при этом не терять легкости и иронии стиля.

ISBN 978-5-457-12389-2

© Климонтович Н. Ю., 2011

© Эксмо, 2011

Николай Климонтович Только остров

Миша Мозель, стыдя себя, в последние годы все больше сторонился людей. С ними ему зачастую становилось неинтересно и скучно, многие оказывались одинаковыми: никем и ничем не интересовались. Нет, Миша не вовсе потерял вкус к жизни: он по-прежнему любил книги и жену, курить крепкие сигареты натошак, свою работу и по-прежнему жалел мир. Сейчас он смотрел из окна палаты на мелкий частый дождь в больничном дворе, на мокрые желтые листья, которыми были запятнаны и асфальт, и газоны: красные листья в этом октябре отчего-то дольше держались на деревьях. Он наблюдал, как мокрая пегая ворона склевывает редкую китайку на уже облетевшей яблоне – райские яблочки, – и ворону ему тоже было жаль. Как и яблоню, впрочем. Он думал о том, что эта его жалость всего лишь обратная сторона зависти, потому что птица свободна и здорова, у нее отменный аппетит. А яблоня его переживет...

Дверь за его спиной с шумом распахнулась. Миша обернулся. Двоих соседей по палате на месте не было, Миша не заметил, как они вышли. Процедурная сестра, равнодушная от старости и стажа, задевая со стуком разлапистыми железными ножками за косяк, гремя банкой с раствором, внесла в палату штатив с капельницей. Миша молча улегся на свою кровать, подставил правую руку, сдвинув к плечу рукав халата. Сестра наложила жгут, Миша без понуканий стал *работать кулачком*. Сестра принялась щупать его руку, с привычной досадой приговаривая «*Ох, плохие у вас вены*», как будто за две недели, что она брала кровь и ставила ему капельницы, вены могли измениться – впрочем, от первых неудачных ее попыток остались-таки две гематомы.

Не то чтобы Миша гордился своими венами, но в первый раз за них чуть обиделся. А потом привык. Он уж ко многому здесь привык, человек скоро привыкает... *Плохие*, потому что тонкие, неудобные, пожилой подслеповатой женщине трудно было их достать. Наконец она нашла, ткнула иглу в руку, больно поддела кожу и, кажется, попала-таки, потому что в шприце показалась кровь. Она неловко, плохо гнущимися пальцами, приладила катетер, повернула крантик и удалилась. Пузырек воздуха побежал вверх по гибкой прозрачной трубке. И Миша прикрыл глаза.

Конечно, если *все обойдется*, на Остров он отправится, приглашение останется в силе до весны, а ведь Мише было просто необходимо туда попасть... Он спросил у врача, мол, так и так, он должен отправляться за границу, и ему непременно надо знать, сколько времени займет операция, а сколько реабилитация – *в лучшем случае*. И врач, вечно спешащий куда-то по больничному коридору – полы короткого белоснежного халата порхали над модными брюками и дорогими штiblетами, – ухмыльнулся и бросил на бегу коротко *как повезет*. Миша, который всегда пуще огня боялся быть навязчивым, тут взмолился: «*Но все же, доктор?*» И тот остановился в своем беге, устало посмотрел Мише в глаза из-под тонких с позолотой очков, произнес с холодным врачебным цинизмом: «*Бывает, выписываем через две недели, а бывает, дело кончается летальным исходом...*»

Этот разговор состоялся на второй день водворения Миши в палату, тогда он еще не знал *ничего*.

Странным и страшным был этот последний год Миши Мозеля: он пережил слишком много для такого короткого времени. Сначала умер отец, и Миша похоронил его на Хованском кладбище. Обронив в присутствии сына, что теперь ей жить не для кого – Миша был не в счет, она всегда любила только отца, – через семь месяцев умерла мать.

Отец умер легко, как праведник. С отменным аппетитом позавтракал перловкой и кофе, съел бутерброд с красной икрой, попросил включить старый *Грюндик*, настроенный на английское Би-Би-Си, откинулся на подушку; когда Миша вошел в его кабинет через пять минут, отец был уже мертв, и на светлом его лице осталась чуть уловимая улыбка, как будто в последний свой момент отец что-то узнал.

Мать умирала долго и трудно, почти месяц была не в себе, подчас не узнавала сына. Иногда спрашивала, какая остановка, волновалась, не пора ли выходить. Но даже когда приходила в себя, совершенно Мишу не стеснялась, не видела в нем мужчину, и Мише это было тяжелее всего: мать всегда была холодноватой и очень щепетильной женщиной, до чопорности... Верочка, конечно, приезжала его подменять, но под разными предложениями Миша ее ласково выпроваживал; мать с невесткой всегда была не в ладах, тем более что Верочку больная теперь вообще отказывалась узнавать, шептала: «*Кто эта чужая женщина?*» – со страхом. Мише подчас мерещилось – притворным.

Мать была принципиальной тихой атеисткой, хотя, конечно же, была крещена во младенчестве, и пожелала, чтобы тело ее непременно сожгли в крематории. Миша сжег; а когда получил урну через несколько недель, похоронил там же, в могиле отца. Он уже все делал как во сне, и если б не Вера – не справился бы. Так ему казалось.

Потом случился пожар на складе, где хранился тираж «*Вестника*», и все сто пачек погибли. Хорошо, Миша успел кое-что забрать в первые же дни и разослать – иначе плоды долгой его работы совсем пропали бы... И вот, наконец, у него обнаружили опухоль на левой почке, и он оказался в этой палате.

Лежа здесь, он часто вспоминал присказку «*Беда одна не ходит*». Прежде он иронически кривился от всяческих фольклорных трюизмов, эта самая *народная мудрость* казалась ему навязчивой и плоской, но теперь пришлось согласиться: верно, *не ходит*.

Теперь он часто вспоминал полузабытые стихи, постепенно они будто проявлялись в памяти:

*Еще одно поведать о нем я не успел,
Колчан его ломился от златоперых стрел,
Чей острый наконечник был шириною в пядь.
Кто сбит такой стрелою с ног, тому уже не встать.*

Когда-то отец читал это маленькому Мише вслух перед сном, и даже позже, уже в первых классах, когда Миша ангирил и температурил.

И, лежа в палате или стоя с сигаретой на застуженной задней лестнице над вонючим ведром, куда старшая сестра указала бросать окурки – курить в отделении дозволялось только здесь, – Миша повторял шепотом:

Кто сбит такой стрелою с ног, тому уже не встать...

В родительской квартире всегда, сколько помнил себя Миша, стояли в гостиной старые напольные часы в массивном дубовом ящике. Часы были так же внушительны, как и большой резной дубовый английский буфет. Уж бог знает, как пережили эти вещи советскую историю, но были целы и стояли здесь со времен дедушки Миши.

Часы, как издавна считалось в семье, давно не шли, механизм был испорчен, но к ним полагался большой массивный ключ с коваными двумя лепестками, и в Мишином детстве бабушка часто выгребала этот дивный предмет из груды Мишиных игрушек, и ключ водворялся на место, в маленькую нишу за дверцей под циферблатом... В день кремации матери,

когда в родительской квартире после недолгих и тягостных поминок никого не осталось, а Верочка, выпроводив последнюю, далекую и неведомую тетку, принялась на кухне мыть посуду, Миша, слоняясь без дела и маясь, машинально отворил ту самую, заветную в его детстве дверцу и нашел, что ключ так и лежит на месте. Миша достал его, вставил в четырехугольную скважину и несколько раз повернул с усилием и скрежетом по часовой стрелке. И вздрогнул от испуга: внутри что-то скрипнуло, часы будто вздохнули – и пошли. «*Верочка*, – крикнул Миша с суеверным ужасом, – *Верочка, они – идут*». Но никто его, конечно, не услышал, и ему в одиночку пришлось догадываться, что такое старые часы принялись вдруг отмерять.

И до больницы, и в палате Мише теперь то и дело снились родные – быть может, потому, что на пятьдесят первом году жизни он вдруг понял, что остался сиротой. Ему снился отец, снилась мать, потом несколько раз кряду принималась сниться бабушка, которую он когда-то очень любил и продолжал любить и сейчас: она, по сути, его и воспитала, а умерла уже очень давно, почти четверть века назад. Во сне с бабушкой они искали какой-то дом в какой-то неведомой печальной местности, шли отчего-то по заросшим железнодорожным путям, перешагивая по шпалам между ржавыми рельсами...

С отцом – разговаривали, и подчас оказывалось, что это вовсе не отец и что говорить не о чем, но на следующую ночь отец появлялся снова, и все повторялось, и случалось так, что Миша, уже пробуждаясь, зная во сне, что видит сон, все порывался отцу сказать что-то или что-то спросить, но с ужасом понимал, что забыл – что именно... Мать же ему вечно что-то запрещала, раздражалась, вечно что-то крутя в пальцах, конец шали, что ли, при том что никаких шалей и платков никогда не носила, спорила с ним в каких-то незнакомых и всегда тесных комнатах, в каком-то деревянном доме... И Мише теперь было в пору согласиться с простонародным убеждением, что таким образом его умершие близкие *зовут его* и, наверное, вскоре он свидится с ними.

Миша не верил, конечно, в посмертное бытие, как оно описано у Данте: «*Божественная комедия*» со всеми ее кругами, скорее всего, лишь гениальная ироническая метафора, чтоб было куда поместить недругов, – написал же Микеланджело Буонарроти в правом нижнем углу «*Страшного суда*» в Сикстинской капелле, в самом заштатном краю Ада, папского бухгалтера, считавшего, что художнику переплачивают. И построения Сведенборга на счет бессмертия души были на Мишин вкус лишь прелестными спекуляциями, а не духовидческими откровениями. Но Миша знал, конечно, что душа не может растворяться без следа, так что был своего рода стихийным буддистом, без веры, впрочем, в перевоплощение, и его поражало, как мог написать свою гениальную поэму Данте, не зная «*Тибетскую книгу мертвых*». И вообще как много в разные времена и в разных местах люди, не ведая друг о друге, говорили, думали, писали, вещали об одном и том же – о бессмертии, и могло ли это быть случайным? И только ли это одна пустая мечта – на манер федоровской, на самом деле – новозаветной. Но Мишу подчас мучило простое соображение, что если душа бессмертна, то она не может родиться вместе с человеком; и естественно полагать, что душа человека существовала и *до* его появления на свет, то есть *была всегда*.

Больница, хоть и считалась по своему печальному профилю лучшей в городе, а то и в стране, была старой, обшарпанной, как водится за всеми государственными учреждениями, располагалась недалеко от Центра, при ней не было не то что парка, даже хоть дворика. Впрочем, ее пациентам в большинстве было не до прогулок.

Тесное это заведение всегда было переполнено, и больные, которым помощь была необходима немедленно, числились в очереди на операцию месяцами. Что было недалеко-

видно с их стороны, ведь им могли помочь и в других местах, но именно у этого была слава чудодейственного.

Распространялась эта необходимость томительного ожидания в страхе и неизвестности, конечно, лишь на так называемых *больных со страховкой*, то есть с государственным полисом, на тех, кто не имел возможности платить наличными. Но и *платных* было чересчур, и первыми попадали те, у кого обнаруживались связи. Так, Миша попал сюда по протекции какой-то мало ему ведомой двоюродной, что ли, одинокой, но с богатыми связями, тетки жены. Два Мишиных соседа тоже были *блатными*. Причем заведующий отделением проявил чуткость и положил всех троих в одну, *блатную*, палату на троих. Впрочем, такая в отделении была единственная – в других лежали по шесть-восемь человек. Но и этого мало: казалось, заведующий намеренно сформировал контингент по принципу *творческие люди* – возможно, при этом ожидался некий психотерапевтический эффект, и он в этом не ошибся... Конечно, вполне возможно, что все это было лишь стечением обстоятельств и вышло вполне случайно.

Мишу Мозеля, однако, к *творческой* интеллигенции в общепринятом понимании было не отнести. Он был – библиограф, хоть и кандидат наук. Зато его соседи оба были художники, творцы, что вызывало у Миши чуть не благоговение: он всегда хотел быть поэтом, да хорошо, скоро понял, что Бог – не попустил, но Миша преклонялся перед всяким чужим даром. И со стыдом, никому не показывая, хранил-таки свои дилетантские строки:

*В ночи случайная слезинка
Стекает тихо по щеке,
Скользит под милую улыбку,
Как Лорелея по реке...*

А не показывал потому, что однажды услышал из чьих-то уст: «*И этот мандельштамит...*»

Миша пришел в палату, маленькую комнату метров четырнадцати, позже соседей, потому ему досталась самая неудобная кровать, при входе, ногами к раковине, и тумбочка располагалась неудобно, за головой, – две другие кровати стояли по сторонам окна. Ко времени его появления одному из обитателей палаты уже сделали операцию на предстательной железе. Второй ждал подобной же. Миша, поскольку опухоль у него была на почке, в этом маленьком кругу стал считаться *легким больным*.

Просьпалась палата среди ночи. Прооперированный, шумно переваливаясь, вставал и, тихо стеноя, ковылял к раковине, чтобы попытаться промыть какие-то трубочки, что свисали у него на паху из-под пижамной куртки. А также опорожнить мочеприемник. Тогда, разбуженный, второй сосед принимался бриться электрической машинкой. Это был вечный холостяк лет под шестьдесят, но теперь он очень волновался, сможет ли после операции жениться, ведь до болезни сделать этого он не успел. И тот и другой были вежливы с Мишей, и среди ночи часто звучало что-то в духе «*Я вас не разбудил?*». Миша энергически отказывался, мол, что вы, пустяки, забирался под одеяло. Ему мерещился Остров.

На Остров Миша должен был сначала лететь на самолете, потом плыть на пароме. Грант, что он получил, был дан ему за работу, которую он делал много лет и наконец опубликовал в погибшем в огне «*Вестнике*». Работа эта была в России единственной в своем роде – полная русская библиография Эммануила Сведенборга и полный, насколько это было возможно, перечень ссылок.

Грустно, но немногие его близкие знакомые, даже из тех, кто имел хоть отдаленное представление о великом шведском мистике, пожимали плечами, когда Миша говорил о своей работе: *«Кому это нужно?»* Они не философа имели в виду, конечно, но саму Мишину деятельность, представлявшуюся им как бы талмудической, нетворческой или, как теперь принято говорить, *некреативной*. Но это были люди не архивные; вот старинный приятель-переводчик Науменко, германист, опубликовавший по-русски черновики сказок братьев Гримм, тот да, оценил бы, но, к сожалению, они давно не общались, потому что переводчик, будучи чуть старше, говорил по телефону часами и только о своих болячках, на худой конец о недомоганиях своего любимца пса, ухоженного, но старого эрдель-терьера – пес стал слепнуть, – и никогда не говорил о жене, так, вскользь; как-то Вера посоветовала Мише попытаться рассказать и ему о своих хворях; старый знакомец мигом скомкал разговор и больше никогда не звонил.

Скептики же чаще всего были люди, от Мишиной науки далекие, из тех, кого некогда называли *«профаны»*, и Миша, не раз спугнутый, чем дольше работал и дальше продвигался, все меньше о своей работе говорил. Даже с Верочкой. Конечно, жена, любя его и жалея, не была столь бестактна, как посторонние, помогала, если что, с готовностью, заботилась, но и для нее, Миша знал, и в его работе, и в нем самом было нечто не от мира сего. И это при том, что Верочка знала, конечно, отчего была выбрана некогда именно эта тема, никак не случайно, но, кажется, и сама причина этого выбора казалась ей, как бы сказать вернее, *притянутой за уши...* Тем более значимым оказался нечаянно выигранный Мишей приз.

И во дворе, и в начальной школе Мишу Мозеля с детства дразнили *евреем*. За долговязость, кадыкастость и горбоносие, но пуще, конечно, за фамилию. Отец, узнав, что Миша как-то поплакался на это матери, пытаясь спросить, точно ли они *евреи*, передернул плечами и сказал сыну: *«Ты не еврей, но никогда не оправдывайся, евреи в высшей степени достойный народ»*. Потом Миша понял и еще одну вещь, почему не надо оправдываться: слишком многие евреи с легкостью отрекаются от своего племени, именно что *оправдываются*, и тогда их считают евреями еще больше и увереннее, но уже безо всякого оттенка скрытого под пренебрежением уважения.

Мишина фамилия была немецкого происхождения, хотя отдаленные предки привезли ее в Россию из Швеции. Это было известно Мише, сколько он себя помнил, но в семье об этом говорить было не принято. *«Если мы и шведы, – говорил отец, – то мы русские шведы»*. Позже, лет девяти, Миша сообразил: *«Как Даль?»*

– Ну, к примеру, – сказал отец, – или как Витте.

Но все равно что-то в его фамилии, в ее написании и произношении, Мишу смущало и смутно не устраивало.

Вопрос оказался снят, как ни странно, с милицейской помощью, о чем милиция, конечно, не догадывалась. Верочка настояла, что, мол, *тебе нужно отдохнуть*, и решила отвезти Мишу на Крит, *где нам нужно побывать*: по негласному сговору Верочка одна знала, что *им нужно*, и это было удобно. Для поездки следовало выправить иностранный паспорт, которого у Миши никогда не было. Когда все формальности были выполнены и Миша получил документ, там значилось: Michael Mozel. Так что, как оказалось, причиной многих недоумений и обид был всего лишь мягкий знак, довольно странная буква алфавита: за ней не было звука, но она, оказывается, могла приводить к неприятным недоразумениям.

Единственный городок на Острове Мише мерещился средневековой крепостью, обнесенной высокими стенами, как у рыцарского замка, с тянущимся к серому балтийскому небу шпилем готического собора, с кукольными домиками, крытыми красной черепицей: на

дверце каждого висел зеленый хвойный веночек с красными ягодками и золотыми шишечками, обороняя домик от злых сил. Зимой городок в крепости, построенной некогда Гевтонским орденом, утопал в снегу и в розах. Почему в розах, невзирая на северную погоду, понятно: розы – цветы мистиков и рыцарей.

Мише не раз приходило в голову: тот факт, что родители дали единственному сыну имя в честь незнакомого ему родного дяди, старшего брата отца, является для него, быть может, роковым знаком. Дядя погиб в московском ополчении в первый год войны, за десять с лишним лет до Мишиного рождения. И Мише часто приходило в голову, что привычные с детства мысли о самоубийстве, с которыми он свыкся, как свыкаются с недоступной, но неотступной мечтой, не этого ли корня. Ведь если вдуматься, то незачем было дяде Михаилу Мозелю добровольно идти в ополчение, которое не обучили, не одели, даже толком не вооружили, а провели по Красной площади и бросили под немецкий огонь на верную смерть. Ведь дядя Миша был студентом-медиком, и у него имелась *бронь*. Уж не стремился ли дядюшка к гибели, причем безвестной, могил у тысяч ополченцев не было. Вряд ли могли его так захватить прекраснородушные патриотические настроения, хотя кто знает, молодость все-таки... Или здесь таилось что-то другое, может быть, боязнь лагеря – ведь он был швед, то есть почти немец, хоть и писался по паспорту русским. Но скорее он сам искал смерти. Бог весть. Как говорят итальянцы, *каждый новорожденный – это неизвестный покойник*. Кто поражен такой стрелой...

За первую неделю, что Миша провел в больнице, ему сделали множество анализов, некоторые на сложной аппаратуре, и признали *операбельным*: оказалось, и операцию тоже еще надобно заслужить. Врач, смотревшая его на томографе, сказала ему: «*Что ж, почки – парный орган, а вторая у вас крепкая*». И Миша, и так не бившийся в истерике – на все воля Божья, – после этих слов загордился: отменная все-таки у него вторая почка. И вовсе успокоился. Настроился жить и дальше. И вспомнил из Матфея: «*Хорошо жить хоть безрукому, хоть хрому, а не с двумя руками и двумя ногами пропасть...*»

Теперь ему ставили по три капельницы в день – *очищали печень от ферментов*, это было необходимо для анестезии, – и каждый день брали из вены кровь – *на биохимию*, как здесь для краткости выражался медицинский персонал, и обе руки Миши были вчистую исколоты. Иными словами, его готовили к операции. Молоденький ординатор, который вел Мишу, удивлялся, откуда в его печени столько *ферментов*. Приглядывался и даже, кажется, принюхивался. Удивлялся и сам Миша – ведь он почти совсем не пил, алкоголя у них в доме не бывало, так, пару рюмок в гостях...

Здесь, в больнице, где так близко видна была смерть – не собственно Мишина, но смерть вообще, как неизбежное конечное состояние человека, – Миша много думал о жизни, на что *в миру, на воле* оставалось немного времени. Он думал о том, что, если бы ему предложили начать жизнь сначала, он в ужасе и панике отказался бы. Ведь пришлось бы все делать заново. Играть во дворе с мальчишками в потные и глупые игры – вроде футбола. Ходить в унылую школу, в которой преподавали – при Мишиной *детской* – одни банальности. Потом таскаться через весь город на лекции в университет, где в темных пыльных аудиториях доценты в обвислых пиджаках, подчас с чернильными пятнами на сердце, читали по большей части пустейшие лекции, и немногие сообщаемые ими сведения были стоящими... Нет, первая половина жизни, как ни крути, неприятная, неопрятная и утомительная штука.

Миша никогда не понимал людей, которые боятся стареть. Не сочувствовал надрывно-обреченной интонации навязчивой песни «*наши годы, как птицы, летят*». Ничего

подобного, годы еле тащатся, и жизнь, по слову поэта, *оказалась длинной*. Слишком длинной и медленной, думал пятидесятилетний Миша Мозель. Единственно, что хотелось бы дожить до пятидесяти семи, в этом возрасте Сведенборгу было откровение. Но тот прожил еще тридцать лет, за которые написал целую библиотеку, трактую Пятикнижие и витийствуя, но это Мише, как он отчетливо понимал, не грозило: писал он всегда с большой натугой.

Конечно, Миша Мозель, видя, как вокруг борются за похудание, седлают тренажеры, перегрызают глотки за деньги и карьеры, всячески молодятся, будто надеются жить вечно, понимал и принимал с покорностью, что ему просто не хватает *витальности* и что он *слабак*, как в минуты недовольства сыном обидно говаривал Мозель-старший, – у него-то самого как раз с этой самой витальностью было все в порядке.

Миша, однако, все равно поражался человеческой жадности до суеты и видел, как люди прикрывают и оправдывают свою алчность к жизни – любовью к детям. Но дети вырастают, забывают своих родителей, а те живут, живут и живут... У них с Верочкой детей не было, Верочка никогда больше не беременела после раннего, студенческой поры аборта, сделанного по настоянию свекрови: *«Ведь тебе, Веруня, придется бросить университет»*, – но Миша никогда об этом не жалел, хоть и корил себя за эгоизм. И даже радовался – ведь он, как и подобает, оказался как бы в celibate, пусть и невольно... С годами смирилась и Верочка, и они стали жить друг для друга.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.